

# Странная литература

Вот говорят: «женская» литература. Что имеется в виду? Литературное же-манство, узость жизненно-го взгляда и прочая и прочая, что отражается и выражается в подобной литературе. Говоря прямо, ее можно обозначить как жецанскую. Впрочем, и «мужская» литература время от времени поставляет нам те же образцы.

...Шло большое писательское собрание. В перерыве один поэт подошел к поэтессе, «увешанной умопомрачительными (и многочисленными) дагестанскими украшениями: серьги, ожерелья, браслеты, кольца. Почти как новогодняя елка». «Да,—игриво сказал он, прищурившись.—Это все великоленно, но подозреваю, что очень долго их в случае чего приходится снимать». «Когда я хочу, я снимаю их мгновенно»,—парировала она.

Просим прощения как у читателя, так и у поэтессы (не какого-то литературного персонажа, а живой и известной) и за «новогоднюю елку», и за приведенный обмен двусмысленностями, хотя повинны в них не мы, а писатель Владимир Солоухин, перекидывающий свои «Камешки на ладоны» в 8-м номере «Нового мира» и к тому же называющий всех полными именами.

Объяснимся сразу. Говорить можно все. Или почти все. Но всему свое место и свое время. Речь не о ловкой или неловкой «правде», не о запрете на острое слово — вовсе о другом. То, о чем речь, назовем художническим и человеческим тактом.

Перед нами записные книжки писателя. Святое дело. Заметка на память, пришедшая в голову мысль. Например, такая. Раньше писали: Вильям Шекспир. Теперь — Уильям. «Неужели,—размышляет Солоухин,—дойдет дело до того, что станем говорить «уиски» вместо «виски»? Или: автор и другой москвич сидят в президиуме на юбилейном вечере национального писателя. Сосед говорит: «Скучно, тяжело слушать три часа речи и ничего не понимать». Автор отвечает: «А ты думаешь, если бы мы все понимали, нам было бы веселее?»

В жизни — в том числе писателя — бывает всякое. И подмечать можно трагическое, а можно смешное, можно быть серьезным, а можно — шутилым. Но, вообще говоря, в том,

что останавливает наше внимание, что занимает наш ум, — так или иначе отражается наш духовный мир. Особенно когда мы считаем возможным и необходимым поделиться этим со всеобщим читателем. Нет, в этих соловухинских записках попадает и важное, и интересное. Однако много и такого: «Конечно, жалко, что сказано не мной. Но если собирают спичечные коробки, марки и разные этикетки, то почему не положить в копилку чужие, но гениальные выражения? Например, кто-то сказал, что пуля Мартынова срезала верхушку с дерева русской поэзии, после чего оно пошло расти в сучья (!!!). А кто-то другой сказал про глаза молодой уже женщины, что они, глаза, как в бокале вчерашнее шампанское». Если это кажется писателю «гениальным» да еще прописные женские глаза следуют сразу за Лермонтовым (а не Пушкин — «верхушка») — и отсутствию такта приходится добавлять отсутствие вкуса.

На уме Чехов. Его человеческое и писательское достоинство, его деликатность, его потрясающая внутренняя свобода (по капле выдавил из себя раба), не имеющие ничего общего с самоуверенностью, самодовольством и самоутверждением. Чехов, как известно, писал обывателя, мещанина. Тонкими, но и жесткими линиями рисовал портрет ленивого, некультурного, несостоявшегося сознания. Иногда агрессивного. Палитра отношения была разнообразна: от горького сожаления, даже сочувствия до твердого неприятия. Советская литература перехватила эстафетную палочку у русской.

Мещанское сословие — исторически городское сословие. Но мещанин как житель города и мещанин как носитель мещанской философии — две решительно разные вещи.

Городских людей, московских жителей, попытался написать Василий Белов в романе «Все впереди» («Наш современник», №№ 7, 8). Но какая же это странная попытка!

Начинается с Парижа. Туда туристами приезжают Люба Медведева, наркологу Иванов и Миша Бриш. Все друг друга знают, но Люба не помнит Иванова и оттого не замечает. А Иванов помнит и начинает следить за ней. Ему кажется, что Люба изменила мужу с другом Бриша. Сообщать или не сообщать об этом ее мужу, с которым когда-то был знаком? Нарколог Иванов мучается этим всю первую часть романа. Медведев в этой части мучается другим: смотрела или не смотрела Люба в Париже

порнографические фильмы? «Не может быть, что Люба смотрела эту дрянь и не сказала ему». В результате Медведев запил по-черному. Нарколог Иванов, кстати, тоже пьет, но как бы ставя на себе опыт, отмечая каждый раз, что после чего он чувствует. «Организм понемногу привыкает к интоксикации... — думал спящий Иванов. — За счет чего? И почему эта интоксикация вначале приятна?» На работе у Медведева происходит взрыв, погибает человек. Медведев оказывается в тюрьме. На этом заканчивается первая часть. Во второй — Любы нет и «никогда больше не будет». «Она уже не Люба... Да, она не Люба Медведева. Уже давно она Любовь Викторовна Бриш... Иванов, продолжающий не щадя живота исследовать на себе проблему алкоголизма («Характер эйфории также иной», — отметил он про себя и отхлебнул снова, — она наступает медленнее...»), мучается очередной задачей: как отнять отцовство у злодея Бриша (которого дети, между прочим, называют папой и к которым он добр и внимателен) и вернуть их благородному Медведеву (который много лет, будучи уже на свободе, о них вообще не вспоминал). Тем более что в финале «Бриш каждую неделю шатается по Колпачному переулку» и «вся Москва знает об этом».

Что за этим стоит — непонятному читателю вряд ли догадаться. Намеков в романе много: начиная от «шатаний» Бриша и кончая наличием дьявола. «...дьявол есть, это уж точно. Я ощущаю его везде и всегда... Существует могучая, целеустремленная, злая и тайная сила...» Говоря это, «Иванов не был намерен шутить». Дьявол — это азробика и «сексуальные обозреватели» в «молодежных газетах», «раздвоенные», «которые зависят от тайных и нетайных организаций», и «технология приготовления наркотиков», которую «ругая западных наркоманов», сообщают журналисты, разрушение семьи и т. д. «Чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами», — сказал Медведев. — Достаточно поспорить

детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам». А они-то лично, Медведев с Ивановым, так-таки совсем не при чем?..

В кучу свалено все: от действительных социальных зол до фантомов, порожденных, возможно, странной психикой героев романа. С одной стороны, нарколог Иванов мучается, донести мужу или нет на бедную женщину, чья «вина» в романе так и не установлена. С другой, применяет своеобразные методы «лечения», вовлекая больного в довольно грязную историю. Дав слово друзьям покончить с выпивкой и все-таки не в силах его сдержать, Иванов попадает в вытрезвитель, откуда бежит, но там остаются его документы. Так вот не согласится ли больной сказать, что это был не Иванов, а он, а документы Иванова он просто выкрал. Большой, находившийся до того в состоянии психического шока, согласившись на предложение, из шока выходит. «Иванов ясно видел, как меняется, возвращается к здешней жизни его лицо». Таким образом врач провоцирует нужду в помощи больного. Не гадко ли?

Авторские положения, констатирующие зло, находятся в полном противоречии с той нравственной мешаниной, на которой зиждутся сюжетные коллизии. Сюда надо присоединить бесконечные сбои художественной и обычной логики, немотивированность поступков персонажей, психологическую фальшь, заданные схемы вместо образов. Трудно узнать тут Белова, признанного мастера литературы, прекрасно разрабатывающего «деревенскую» тему.

Даже богатейшее чувство языка драматически изменило писателю. Испытываешь чувство неловкости, когда узнаешь, например, что Москва представляется Медведеву «одним сгустком человеческой плоти, непрерывно и неустанно поглощающим пищу, содрогающимся в конвульсиях, испражняющимся и кровачаточащим сгустком!»

Ученые говорят, да и практика подтверждает, что где-то между 50 и 60 годами в человеке (в мужчине тоже) происходят физиологические изменения, воздействующие и на психику, когда могут смещать пред-

## ЗАМЕТКИ КРИТИКА

ставления о себе и о мире. Похоже, выбранные писателем герои в этой поре. Иначе откуда эта нравственная неразборчивость, счет другим при отсутствии счета себе, эта агрессивность, смешанная с бессилием и страхом перед жизнью и перед будущим, эта враждебность ко всем и вся, связанная с представлением и о женской греховности (навязчивый образ женщины, стригущей ногти на ногах), о греховности всего общества, и об опасности, неизвестно почему исходящей от Бриша, прозванного «идущим впереди».

Если называть вещи своими именами, беловские герои демонстрируют философию растерянного и оттого раздраженного, перепуганного и оттого апокалиптически настроенного мещанина.

Увы, подобная философия, мимикрируя, скрываясь и под «благородным» негодованием, и под амбициозным вещанием узких, эгоцентрических истин, и под текучей «объективированной» прозой, и под разными прочими масками, процветает и в других произведениях.

Повесть Георгия Семенова «Ум лисицы» («Новый мир», № 7) — хорошая художественная проза. Но и здесь обнаруживается определенная растерянность перед жизнью — признак не доведенной до конца работы сознания. Эта растерянность автора вовсе не адекватна растерянности главного героя перед «кибернетическими» молодыми людьми (словечко, каким и Белов определяет многое). Растерянность героя — вообще не более чем литературный ход. Несмотря на всю горечь его положения, это не горечь поражения. Поражение терпит его подруга, «молоденькая эта развратница». Терпит его и ее высоколобый муж, в чьем доме «не прощалась только глупость, во всяком случае шла подспудная, жестокая борьба с дуростью, с невежеством, и пощady ждать не приходилось никому». Судьба наказывает обоих.

«Нашли ее раздетую, со смертельными ножевыми ранами в подмосковном лесу на лыжне среди елочек и старых берез». Убил ли ее один из любовников или муж — не ясно. Но и муж, бывший «выше любви», также выбросился из окна.

Тайственность литературе не вредит, если это хорошая литература. Ей вредит непрозрачность, неопределенность нравственного чувства, лежащего в основании произведе-

ния, ибо в зависимости от этого чувства выстраивается и существует художественный мир, тот или иной. Художественный мир этой вещи построен на неточных ориентирах.

«Зачем я, спрашивается, ходил в этот дом, — задает себе вопрос герой, — зачем ломал комедию перед Наварзиным, которого я, разумеется, считал гораздо лучше самого себя, чище, доверчивее и умнее?» Положим, ходил он, вовлеченный в «разврат» своей прелестницей. Но сказанное о Наварзине целиком противоречит приведенному прежде. И это не снятое противоречие, ибо происходит от недодуманности, от мировоззренческой и иной слабости автора записок. Понятно, что возможно движение героя: от неясности — к ясности, от поиска истины — к ее обретению. Этого нет. И Наварзин как образ «валит-ся» потому, что «заваливается» вся система авторских координат. Должно быть, не в борьбе Наварзина с глупостью и невежеством суть (для чего компрометировать эту борьбу?). И даже не в приоритете ума над чувством, которое ставится в вину «кибернетической» молодежи. Автор записок, упоенный сексом, смотрел, да просмотрел. Или недо-смотрел. Что-то существенное в «новых» молодых все же схвачено. Но еще более существенное упущено, пропущено, не вскрыто. Мы недополучили того, чего ожидали, — отсюда разочарование.

Наша литература всегда была сильна учительством. Не дидактикой, а именно учительством. Большой писатель и смерть, и страх, и страх смерти, и любовную измену, и измену самому себе способен превратить в большую литературу. Примеры этому мы знаем. Настоящий нравственный идеал — условие для этого.

В «Камешках на ладоны» Владимир Солоухин записывает еще одно поразившее его наблюдение: «У человека перед животными (и птицами) множество преимуществ. Способность к анализу и синтезу, к отвлеченному мышлению, к искусству и прочая и прочая. Но у животных и птиц все же есть одно замечательное преимущество перед людьми: они никогда не делают глупостей».

Тоже забавно, не правда ли?

Ольга КУЧКИНА.